

Данилевский Н.Я.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАШЕГО НИГИЛИЗМА

По поводу статьи: «Этюды господствующего мировоззрения»

(«Русь», 1884, 15 ноябр. и 1 дек.)

Помещенная под выписанным заглавием статья г. К. Толстого в № 16 "Руси" (1834) показалась мне чрезвычайно интересною, как искренний голос человека, принадлежавшего к числу адептов учения, окрещенного у нас именем "нигилизма", затем понявшего его ложность и возвратившегося к более правильному взгляду на вопросы нравственности и политики, и откровенно излагающего, что именно заставило его, а вероятно и многих других, примкнуть к нигилистическому исповеданию, а затем отрешиться от него. В конце статьи автор изъявляет благодарность за всякие указания на ошибки и неясности.

Мне захотелось заслужить ее, указав на то, что представляет, по моему, неясности и недоразумения именно по вопросу о происхождении и широком распространении нигилистического учения, получившего такую странную привлекательность для молодежи и для не молодежи в оные дни, а затем изложить и собственные мои мысли по этому предмету.

Если я верно понял мысль автора, то причина, оттолкнувшая людей из поколения начала шестидесятых годов от христианских идеалов, заключалась в загрознении и опошлении их разными Иудушками или Тартюфами, и что такое же загрознении и опошлении новых идеалов нигилистической этики Юханцовыми и со братией заставили многих, подобным же образом, отвратиться и от этих последних. — Что таков действительно был исторический процесс смены убеждений у автора и у многих других отдельных лиц, к чести их чувств, но не к чести их логики, — этому вполне я верю; верю и тому, что "у большинства вера эта (новая, нигилистическая) была вполне искренняя и горячая, что во всем процессе перемены идеалов не было ни следа (у большинства только конечно, а не у всех же) преднамеренного самораспускания, подделки, фальши и вообще какой-нибудь недобросовестности". Но если все это так было, то какое же было непонимание целей, какое отсутствие всякой логики! Говоря так, я имею в виду не вообще материалистическое учение, полагающее свое основание в области чистого мышления, а не в потребности новых нравственных начал, — а именно нигилистический материализм, который при самом своем возникновении вступил прямо в нравственную сферу и потому в ней же и коренится, по выражению г. К. Толстого. — Да, изумительная нелогичность господствовала в умах! Только она и позволяет понять недоумение автора, когда он, описав процесс возникновения Юханцовых и вообще того, что он весьма верно называет порнофикациею русского

общества, из новых идеалов, восклицает: "таков обыкновенный процесс опошления идеалов", и, вслед за тем, еще недоумевает, говоря: "но в данном случае необыкновенна та быстрота, с которою наши новые идеалы опошлись, между тем как идеалы христианства так долго господствовали, и еще доселе продолжают господствовать над человечеством". Удивляться тут нечему и не над чем недоумевать. Причина всего этого заключается не только в различии качеств самих идеалов, которое конечно признает и сам автор, но еще и в другом, весьма существенном для занимающего нас вопроса, обстоятельства, которое по-видимому не столь для него ясно. Дело в том, что ни в Иудушках, или, общее и понятнее, ни в Тартюфах, с одной стороны, ни в Юханцовых со братиею, с другой, нет ни малейшего загрязнения и опошления идеалов, а есть нечто совершенно иное. Все Иудушки, Тартюфы и вообще все искажители христианства или зазнамо отрекаются от его идеалов, зазнамо поступают совершенно вопреки им и лишь маскируются их личиною; или, по крайней грубости своего ума и чувства, вовсе не понимают этих идеалов; или, наконец, по слабости и немощи человеческой природы, не согласуют с ними своей жизни вообще, или в отдельных случаях, также более или менее ясно сознавая это. Очевидно, что ни в одном из этих трех случаев нет ни загрязнения, ни опошления христианских идеалов, продолжающих по-прежнему пребывать чистыми и недосыгаемо высокими; а есть только или полное их отрицание, или теоретическая, или практическая непоследовательность им, или обе вместе. – Но точно так же и новые Иудушки и Катоны от нигилизма, как называет их наш автор, вовсе не опошляют и не загрязняют своих новых этических идеалов. Совершенно напротив, эти практические нигилисты только одни из последователей нового учения и выказали полное логическое его понимание, одни только и были вполне последовательны, верны его духу.

Глубокое различие и даже совершенная противоположность между идеалами и последователями христианства, с одной стороны, и идеалами и последователями нигилизма (так для краткости буду называть новое учение), с другой, заключается между прочим в том, что практика никогда не достигала, если позволено так выразиться, теории христианства; в новом же учении, напротив того, практики превзошли самых последовательных теоретиков и в правильности его понимания, и в логической строгости выводов из него. Собственно они одни и заслуживают название нигилистов, потому что они одни остались вполне верными новому нравственному кодексу, правильно вывели из него все его действительные, а не мнимые последствия и осуществили их, в степени весьма близкой к совершенству, в жизни. Можно ли после этого назвать этих столпов нигилизма загрязнителями и опошлителями своего учения? Теоретики же его оказались слабыми, непоследовательными, не понимающими сущности дела. Поэтому они и свернули с настоящего пути нигилизма куда-то в сторону, прицепили к своим метафизическим основам совершенно не идущий к ним и чуждый хвост, в котором, скажу не обинуясь, все-таки, по счастливой непоследовательности человеческой природы, стали видеть сущность и

главное содержание своей новой, собственно уже псевдонигилистической веры. На многое, и чересчур многое, хватило у них духу; но все же не хватило на строгое и последовательное проведение ими же признанных начал. Этого хватило только у Юханцовых со братией, которых можно называть чем угодно, только никак уже не загрязнителями, не опошлителями начал, ими исповедуемых.

Для доказательства, стоит только несколько вникнуть в символ новой веры, как он изложен самим г. К. Толстым.

"Существование Верховного Разума, построившего вселенную и пекущегося о ней, нет возможности допустить. Это член первый. - Вне материи и сил ей присущих, вселенная ничего в себе не содержит. Это второй член. - Человек есть машина, с разрушением которой исчезает всякая ее способность в какой бы то ни было работе. Это третий член". - И в этих трех членах и заключаются все так сказать, метафизические основы учения. Все дальнейшее уже будет этическими и политическими следствиями, из коих правильно выведено только первое: "цель жизни есть счастье", что и примем за четвертый член символа. Но уже определение счастья совершенно не согласно с только что приведенными началами. Счастье должно будто бы состоять в свободном упражнении всех способностей и в возможно полном удовлетворении всех потребностей. Последнее конечно так, потому что удовлетворения потребностей несомненно приносят удовольствия, совокупность которых и составляет счастье. Но упражнение всех способностей! С какой стати? Не всех, а очевидно только тех, упражнение коих приносит удовольствие! Нужны ли доказательства? Возьмем очень известный пример: знаменитый музыкант Россини, конечно, обладал композиторскими способностями, но, как известно, в течение значительной части своей жизни совершенно перестал упражнять их. Значит удовольствия это упражнение ему не доставляло. Очевидно, что с точки зрения, на которую мы стали, счастьем может быть названо лишь то, что или прямо доставляет удовольствие, или, по расчету каждого, может доставить ему средства для удовольствий в будущем, в течение того времени, конечно, в которое машина его, по вероятному расчету, может действовать, т.е. сознать и ощущать, - вот и все.

Еще неосновательнее и непоследовательнее, с точки зрения доставления счастья, дальнейшее разделение способностей и потребностей на естественные и искусственные, и неизвестно откуда взятая необходимость уничтожения потребностей названных искусственными. "Справедливо ли это разделение и эта необходимость подавления некоторых потребностей с какой-либо объективной точки зрения, - до этого", скажет последовательный адепт нигилистического учения, "верующему лишь в вышеизложенный трех или, пожалуй, четырехчленный символ, нет никакого дела, и нет ни малейшего основания признавать это деление и соглашаться на подавление потребностей отнесенных к разряду искусственных. Для меня важно только то: приятно ли мне будет это подавление, или болезненно, и если даже и не болезненно и не неприятно, то не лишит ли меня это подавление некоторой

доли удовольствий, которые я мог бы испытывать при удовлетворении этих не нравящихся кому-то потребностей, если бы они во мне сохранились? А при таком положении дела, во имя чего же я соглашусь на их подавление, то есть на пожертвование долею моего счастья вопреки четвертому члену символа? Без крайней непоследовательности, без ничем не мотивированного отступления от моего четырехчленного символа, я решительно не могу признать, ни за собою, ни за кем-либо другим, права на такую ампутацию или кастрацию. — Я человек с чрезвычайно тонкою способностью ощущать разного рода материальные наслаждения. Я люблю приятные щекотания нервных сосочков моего языка разными изящными яствами и питьями, различаю их и наслаждаюсь ими с тонкостью Лукулла или Апиция. Фламинговы или соловьиные языки, приправленные гастрономическими соусами, или страсбургские пироги доставляют мне неизъяснимое наслаждение, и потому составляют значительную долю моего счастья. С какой же стати я подчинюсь решению каких-то непоследовательных нигилистов-теоретиков, не умеющих сколько-нибудь логически связать предыдущее с последующим, посылок с заключением, и вздумавших поместить такие гастрономические потребности в разряд искусственных?"

"Но может быть теоретики сделают мне в этом случае уступку, допустив, что гастрономические потребности естественны, - благо ведь и животные, доставляющие норму для деления, имеют их в некоторой, хотя бы очень слабой степени. Вот и моя собака, когда не голодна, не ест куска черного хлеба, а с наслаждением проглатывает, если я обмочу его в жирный соус. Благодаря собаке, и вообще зоологическим наблюдениям нигилистов-теоретиков, я могу успокоиться. Но ведь я не удовольствуюсь этою снисходительностью. Я не только гастроном, но еще и очень тщеславный человек. Похвалы, лесть, всякое поклонение моей особе и фамиам мне воскуриваемый приносят мне невыразимое удовольствие и потому также составляют значительную долю моего счастья, можно даже сказать, оставив в стороне разные пустяки и мелочи, составляют все мое счастье, достижению которого я готов всем пожертвовать, - но этим счастьем никому и ничему. Оглядываюсь на собак и зоологию вообще, и вижу, что тут они уже решительно против меня, что они возвещают на все голоса, что потребность моя наискусственнейшая, и что пощады ей никакой оказываемо быть не может, по нигилистической лжелогике. Из-за чего же опять я пожертвую ею в угоду систематическим фантазиям моих учителей?"

Пойдем далее.

"Люди соединяются в общество во имя материальных удобств и взаимной выгоды"... "Это довольно согласно с символом", скажет мой логически-последовательный адепт, "кроме однако же словечка *взаимной*; но в виду согласия в главном, спорить не стану и лицемерно приму и это словечко, тем более, что неопровержимо могу заключить: если "взаимной", то конечно и моей, а так как в этом для меня и вся сила, ибо ведь, если другим есть нечего, - мой желудок голода не ощущает, и если других бьют плетью или палками, - моей спине не больно; то в этом именно смысле и

буду я понимать слово *взаимной*. Но ведь и это мало: ясно и очевидно, что если будут пусты желудки, и спины будут подвергаться ударам плетей и прочего, и если я буду иметь при этом некоторую возможность распоряжаться увеличением и уменьшением этой пустоты, учащением или разряжением этого палочного дождя, падающего на спины, то из этого произтекут немалые для меня удобства и выгоды, ибо во избежание этих, частью от меня зависящих, зол, и в видах приобретения противоположных им благ, многие будут мне угождать, или, как говорится, многих буду я в состоянии эксплуатировать из числа моих сочленов по обществу. Конечно, этот способ приобретения счастья требует двух условий, очень впрочем ценимых адептами нового учения: ума и энергии, при совершенной бессовестности; но совести откуда же и взяться при исповедывании нашего нового символа?"

"Следовательно, энергетическим, умным и логически последовательным исповедникам нигилистической веры, и мне в том числе, предстоит решить очень простую задачу: при допущении даже возможности осуществления радикального общественного переворота, будто бы вытекающего, как логическое требование, из означенных принципов или членов символа, будет ли доля личного моего счастья, понимаемого в истинном, сообразном с учением смысле, больше или меньше той, которой можно надеяться достигнуть при эксплуатации не будущего, находящегося еще за горами, а теперешнего общества? Ответ не может быть сомнительным. Та тысячемиллионная доля общего счастья человечества, или точнее его материального благосостояния и его материальных наслаждений, которая падает на мой удел, может ли она идти в сравнение с тою, которую я имею гораздо вернее и безопаснее благоприобрести от эксплуатации моих сочленов теперешнего общества, при том уме, той энергии и той бессовестности, которые в себе сознаю? Ведь первая доля ни в каком случае не может многим превосходить того, что мне может тогда доставить, положим, и при более благоприятных чем ныне кооперативных условиях, один мой личный труд. Пусть будет она равняться концентрированным во едино долям благосостояния или счастья теперешних двух и даже трех русских мужиков, или хотя бы и французских, английских или немецких фабричных рабочих, - больше ведь уже нельзя предположить по самому щедрому расчету. Куда же как еще далеко этот доле до счастья доставшегося, например, г. Юханцову, не только во времена его славы и блеска, но и после того, как его дело сорвалось, и ему пришлось искупить свою логическую последовательность новым принципам жительствовав в местах отдаленных!"

"По всем этим соображениям", продолжал бы мой адепт, "хотя я пожалуй и согласен, что единственным критерием нравственных отношений между членами общества, вытекающим из основных положений нашего символа, является арифметика, но однако же совершенно не та арифметика, которую приняли, по своей крайней нелогичности, теоретики нигилизма. Моя арифметика провозглашает вовсе не равенство и не равноценность всех членов общества, и вовсе не то "что выгода большинства есть абсолютное

добро, а выгода меньшинства - абсолютное зло". Это совершенно некасающийся до меня вывод, какой-то сбоку припек к единственно признаваемой мною обязательной для меня метафизике, заключающейся в не раз упоминавшемся символе. Он ясно, громко гласит мне, без малейшей возможности непонимания или недоразумения: Аз есмь единица, огромная, всезатмевающая, всепоглощающая - и только аз един. Все прочие - ничтожные дробинки; и это только из вежливости, - а собственно нули, только тогда нечто для меня значащие, когда, как и по обыкновенной арифметике, будучи справа ко мне приставлены, удесятерят, усотеряют, утысячат долю моего счастья... - Если мне возразят: ты, мнящий себя быть этою исключительною единицею, а всех прочих принимающий за нули, ведь и сам подвергаешься такому же принятию и тебя за нуль со стороны других, также мнящих себя единицами, - я не убоявшись ответу: это уже мое дело защитить свои притязания, на то я от природы умен и энергичен, а по исповедуемому мною символу бессовестен. Разве вы не принимаете борьбы за существование, за верховный мироправительный закон, только недавно нам возведенный и потому вероятно и не успевший еще попасть в наш символ, как четвертый или пятый его член? Оно правда, соглашусь я далее, за умных и энергичных признают себя многие, но ведь большинство их конечно ошибается, и пусть себе ошибается, тем лучше для действительно умных, энергичных и последовательных. Результатом этого может быть только то, что общество, и до, и после проповедуемого переворота, разделялось, разделяется и будет разделяться на овец поедаемых и стригомых, т.е. глупых и непоследовательных, каково большинство, и на волков поедающих и лжепастырей стригущих, т.е. умных, энергичных и, главное, последовательных. - Таким образом, и при новом учении, хотя в сущности все останется старым по старому, но однако же с значительным, смею даже сказать с огромным, усовершенствованием, и это без всякой надобности в каком-либо внешнем перевороте. Что теперь считается аномалиею, противоречием нравственному закону, и от времени до времени в том или в другом даже отчасти и исправляется, как это недавно и у нас в России случилось в освобождении крестьян, - то сделается общим правилом; ибо, в теперешнем обществе, как оно ни несовершенно, зло значительно умеряется потребностями, считаемыми нашими теоретиками искусственными, то есть потребностями нравственными и религиозными, ощущаемыми и признаваемыми многими умными, энергичными и последовательными с их точки зрения людьми, потребностями, которые, при распространении нашего символа, конечно отойдут в область предрассудков и никого уже беспокоить не будут".

"Новая нравственная арифметика, не та, которую приняли непоследовательные теоретики нигилизма, ибо та на воздухе висит, а та, которая только что была строго логически выведена из нашего нового символа, отождествляется с новою нравственною философию, которую, по аналогии с метафизическим учением Фихте, можно пожалуй назвать этикою субъективного эвдемонизма, то есть учением, по которому только счастье

лично мною ощущаемое может иметь притязание на реальное значение; счастье же всех остальных существ должно являться мне как пустой бред, греза, галлюцинация, на которые никакому умному и последовательному адепту учения нет не только никакой надобности, но даже и никакой возможности обращать малейшее внимание".

Вот единственно как должен и как мог бы говорить действительно последовательный ученик того нового учения, которое изложил нам г. К. Толстой, как учение начала шестидесятых годов, прозванное нигилизмом. Эти единственно возможные из него выводы - не какие-либо запутанные комбинации, за которыми трудно было бы следить обыкновенному здравому смыслу, и выводы простые, ясные, как говорится, на ладони лежащие и сами собою напрашивающиеся всякому дающему себе самый малый труд в них вникнуть. Поэтому, никоим образом не могут быть они и названы загрязнением, опошлением или искажением идеалов, из коих проистекают, тогда как они напротив того очевиднейшие и законнейшие следствия из основ нового мировоззрения. - Не тому должно удивляться, что опошление этих идеалов, и то весьма неполное и несовершенное, - (ибо, по словам нашего автора, теперь еще имеют они много приверженцев, именно будто бы все группы нашей интеллигенции, кроме славянофилов и консерваторов), - потребовало только тридцати лет; а удивительно скорее то, что такое мировоззрение могло почитаться источником для нравственного идеала в течение хотя бы тридцати минут. Как могла несостоятельность его сразу не броситься в глаза людям, и искавшим-то именно нравственных идеалов?! Также точно, возможно ли себе представить, чтобы примеры лицемерия Иудушек и Тартюфов, и примеры грубого непонимания христианства, которые, как мы выше видели, никоим образом нельзя признать за загрязнение, опошление или искажение его действительных идеалов, могли возбудить жажду к отысканию новых высших идеалов и утолить ее, хотя бы на самый краткий срок, теми основными мировоззрениями, как бы плохо их кто ни понимал, которые нам излагает и по-моему совершенно верно излагает, г. К. Толстой? Эти воззрения ровно никаких нравственных начал в себе не содержат - разве только те, которые излагает Карлейль в своей философии свиней: "Что такое справедливость?" (и нравственность, можно прибавить). - "Моя собственная доля в свином корыте, и никакой вашей доли". - "Но что составляет мою долю?" - "А в этом-то и лежит великое затруднение. Свиная наука, размышляя над ним долгое время, решительно ничего не могла установить. Моя доля - хрюк, хрюк, - моя доля будет вообще то, что я могу захватить не будучи повешен или сослан на каторгу".

Поэтому и нельзя согласиться с положением, что жажда нравственного идеала могла служить причиной как происхождения, так и распространения нигилистического мировоззрения между нашею молодежью шестидесятых годов и вообще в нашем обществе, и должно думать, что наш автор в этом обманывается. Таким образом, и это новое объяснение происхождения печального явления нашей жизни, известного под именем нигилизма, должно быть причислено к числу несостоятельных. Таковыми же представляются

мне и все те, которые предлагались с разных сторон и стали ходячими в разных частях нашего общества, смотря по излюбленному в них направлению. Перечислим и разберем их вкратце, прежде чем предложим свое.

Одни, впрочем немногие, связывают происхождение и распространение нигилизма с крепостным правом, и притом двояким образом: во-первых, тем, что некоторые, лишившись своих выгод и прав, были подвинуты этим к отмщению за понесенный ими ущерб, точно так например, как рабовладельцы Соединенных Штатов, и сделались возбудителями, тайными конечно, всяких противообщественных учений, как материала для последующих противообщественных действий. Во-вторых тем, что люди, испорченные крепостною зависимостью от них крестьян, привыкшие к приобретению средств к жизни чужим трудом, очутились в безвыходном положении и, будучи не способны к какой бы то ни было трудовой деятельности, обратились в самый пригодный материал для восприятия вредных учений. Странное дело! - такое мнение высказывалось и со стороны очень либеральных людей, и со стороны очень нелиберальных. Оно до такой степени невероятно и противоречит фактам, что на опровержение его не стоит и тратить слов. Достаточно сказать, что весь кодекс нигилистического учения был уже готов до освобождения крестьян, хотя впрочем возможно, что несколько неудачников и этого происхождения увеличили собою нигилистический контингент.

Приписывают также нигилизм влиянию наших политических врагов, преимущественно конечно Поляков. Нет никакого сомнения, что всякими вредными для России, ослабляющими ее внутренние силы, явлениями Поляки готовы воспользоваться и, по мере возможности, им содействовать, а, следовательно, и нигилизм им на руку; но породить его они конечно не могли, уже по одному тому, что явление в области мысли (хорошее или дурное) возбуждается только словом печатным или устным и производится не вдруг, а постепенно и исподволь. Когда Поляки получили некоторую возможность таким образом действовать, нигилизм был уже готов. Но главное здесь то, что идеи нигилистического пошиба между Поляками вовсе не господствовали, и имели может быть менее хода, чем в какой-либо другой стране, так как мысли их были направлены совершенно в иную сторону, не к материализму, а напротив того к фантастическому идеализму и таковой же религиозности, с совершенно им специально лжепатриотическою окраскою. Следовательно, чтобы передать нам вредное учение, они должны бы были его искусственно сочинить собственно с целью преподнесения его нам, и сделать это заранее, предуготовительно. Но это есть уже сама по себе вещь совершенно несообразная, ибо развивать и распространять с успехом можно только то, во что сам веруешь искренно и сильно. Возможность распространения ложных учений, религиозных и других, путем сознательного обмана давно уже всеми отвергнута. Наконец, мы просто знаем, что фактически ничего подобного не было во времена предшествовавшие обнаружению нашего нигилизма, когда он подготавлился,

возрастал и развивался. Идеи конституционализма, политической свободы, революции, также как идеи о неправоте России в завладении так называемыми польскими, а в сущности коренными русскими землями, - идеи, которые господствовали и господствуют между Поляками, могли быть ими распространены и развиваемы у нас, как без сомнения это издавна и делалось; но относительно идей философского, эстетического и нравственного характера, к числу коих конечно принадлежит, хотя и как уродливый выродок, и нигилизм, Поляки, думаю я, неповинны, т.е. неповинны в их зарождении и первоначальном распространении, хотя, видя их злобность для России, они конечно впоследствии не преминули содействовать их дальнейшему преуспеянию и распространению, а главное - придаче им той политической и социальной окраски, которая согласовалась с их целями. Еще более, думаю я, виновны они, не только примером *ржонда*, жандармов-вешателей, кинжальщиков, но без сомнения и прямым участием, в порождении террористического направления тайных обществ, совершивших столь ужасные преступления и принеших столько зла.

Далее, приводят нигилизм в генетическую связь с нашим школьным делом, и притом двумя диаметрально противоположными путями. Одни утверждают, что наша последняя учебная реформа средних учебных заведений, классицизм, и вообще более строгое, а по мнению их даже чересчур строгое и требовательное отношение к занятиям учеников, как в течении курсов, так и при экзаменах, заставляя многих выходить из заведений до срока, не получив ни прав, ни знаний для каких бы то ни было занятий, обращали их в неудачников, не имевших куда головы преклонить и без средств зарабатывать себе хлеб насущный. Для этих несчастных, недовольных, озлобленных, не оставалось, говорят, иного пути, кроме пути крайнего отрицания, на который ничего и не стоило их натолкнуть. - Совершенно верно, что и эти неудачники могли увеличивать и действительно увеличивали контингент нигилистов, но что не в них заключался корень зла - об этом, кажется, также нечего и говорить.

Другие, напротив того, утверждают, и по-видимому с гораздо лучшим основанием, что плохое состояние школ, после изменения учебного плана в сороковых годах, когда в средних заведениях было ослаблено изучение классических языков, и в особенности после реформы 1863 года, было главною причиною нигилистической заразы. Конечно, рассуждая с очень общей точки зрения, - в дурном учении, имеющем своим результатом неправильное понятие о вещах, или, что еще хуже - неспособность различать правильное от неправильного, истинное от ложного, можно видеть корень всякого нравственного зла. Но то вполне хорошее учение, которое давало бы в своем результате сообщение всем обучающимся правильного понятия о лицах, вещах и взаимных отношениях их, а главное - сообщало бы безошибочный критерий для различения лжи от истины, есть конечно и навсегда останется *primum desiderium*, уже по одному тому, что это зависит не только и даже не столько от правильного преподавания, сколько от правильного восприятия и усвоения преподаваемого. При той же степени

достижения этого идеала учения, образования и даже воспитания, до которой до сих пор доходили люди, можно, кажется, с достаточною вероятностью утверждать, что отношение числа отклонений от правильного здорового пути к числу последований ему в смысле приближения к нравственной истине - очень мало зависит от состояния школ и даже вообще от состояния просвещения, как бы ни было оно, напротив того, влиятельно в других отношениях. Гораздо сильнейшее и можно сказать даже почти исключительное влияние в этом важнейшем деле имеют те господствующие в обществе и так сказать носящиеся в воздухе идеи, все равно истинные или ложные, которые приобретают власть над умами и сердцами людей, и влекут их неудержимо за собою в хорошую или дурную сторону, и или ставят их на высокую степень нравственного совершенства, или ввергают в бездну зла: первое видим мы, например, в первые века христианства, а второе в оргиях французской революции.

Что не плохое состояние наших школ вообще, и не отсутствие в них классического обучения в особенности, было причиною возникновения и распространения у нас нигилизма, видно до очевидности ясно из того, что в той стране, где обучение вообще, и притом именно классическое, находится уже давно на высокой степени совершенства - именно в Германии - преимущественно возник и распространился неоматериализм, не в кругу народа конечно, но в кругу интеллигенции, которая ведь только одна и пользуется как средним, так и высшим образованием, и в этом кругу спустился он довольно низко по лестнице общественных положений; а материализм есть не только корень нигилизма, но в теоретическом смысле даже совершенно с ним совпадает. Разве имена Фейербаха, Штрауса, Штирнера, Фохта, Молешотта, Бюхнера, Геккеля не имена корифеев и учителей нового материализма? Не они ли вместе с тем духовные отцы и родоначальники нашего нигилизма? Ибо, если это учение исходило в прошедшем столетии из Франции, от энциклопедистов и последователей их, то со второй половины настоящего столетия, и даже несколько ранее, не вырабатывалось ли оно преимущественно в Германии и не оттуда ли перешло и к нам?

Но не только чистый теоретический нигилизм заимствован нами оттуда, - не оттуда ли перешел к нам и социализм в новейшей форме его развития? И как для первого прямыми и непосредственными учителями конечно были означенные немецкие материалисты, так для последнего такими же учителями были для нас Лассаль, Маркс и другие немецкие социалисты.

И так, скажу я, ни классицизм, ни другая какая-либо педагогическая метода не может предохранить от порождения, развития и распространения как материализма и нигилизма, так и вообще ложных учений, также как и противоположная им не может их породить, конечно если она не прямо направлена на их сообщение учащейся молодежи. Само собою разумеется, что, говоря это, я вовсе не имел намерения сказать что-либо в осуждение принятой у нас теперь педагогической методы. Единственным моим

желанием было показать, что нигилизм не есть наше русское самобытное явление, происшедшее как результат частных зол и неустройства нашей жизни; ни экономических и общественных, как крепостное право; ни политических, как неправильные наши отношения к Польше; ни педагогических, как плохое состояние наших школ. Я хотел также показать, что, хотя исправление как этих, так и многих других частных зол в высшей степени желательно, но что от каждого такого врачевания и можно ожидать только частных изменений, которые, по общей связи между всеми процессами органической жизни народа и государства, хотя и должны оказать некоторое полезное влияние и на прочие отправления общественной жизни, но все же останутся улучшениями частными, а не будут панацеями, от коих позволительно было бы ожидать всевозможных благ и исцеления от всевозможных зол, - нигилизм же есть симптом общей болезни. Но какой же именно? Где источник его? В чем состоит это болезненное состояние, которое проявилось столь опасным симптомом?

Мы уже собственно ответили на этот вопрос. Если нигилизм не результат какого-либо из частных зол наших, не протест, хотя и ложно направленный, против которого-либо из них, или против всех их в совокупности, если, далее, он не самобытное и специальное наше явление, а нечто заимствованное, как это показывают непреложные, неопровержимые факты, то и он есть дитя общей нашей болезни - подражательности.

Наш автор, с разбора мнений коего я начал свое рассуждение, говорит: "не мы его выработали (новое мировоззрение названное нигилизмом), оно старо как мир, - мы только собрали его по кусочкам из разных мыслителей всех веков и народов, да сшили самодельными нитками". Нет, и в этом было бы еще слишком много чести: такая компиляция, такое соображение и прилаживание разных частей в одно целое, хотя бы и лыком сшитое, было бы уже трудом несколько самостоятельным. Хотя древность учения и нахождение его у разных народов несомненны, но ни в древности, ни в современной разноплеменности мы ничего не исследовали, не отыскивали, не сопоставляли, не извлекали, а, как я уже сказал, взяли и теоретический материализм, и порождение его (хотя и незаконное) - новейший социализм - преимущественно из последнего немецкого издания, как в последнее время во всем привыкли это делать. Прежде подражательность наша была по крайней мере несколько эклектичнее.

Самостоятельность наша в деле нигилизма оказалась только в одном, - в том, в чем всякая подражательность самостоятельна, именно мы утрировали, а, следовательно, и окарикатурили самый нигилизм, точно также как и новейшие моды утрируются и принимают карикатурный вид, переходя на головы, плечи, талии провинциальных модниц и франтов.

Все различие между нашим нигилизмом и нигилизмом заграничным, западным, заключается единственно в том, что там он самобытен, а у нас подражателен, и потому, тот имеет некоторое оправдание, будучи одним из неизбежных результатов исторической жизни Европы, а наш висит на воздухе, ничем не поддерживается и ничем не оправдывается, и, несмотря на

всю его печальность, есть явление смешное, карикатурное, составляет сюжет комедии, разыгранной нами на сцене истории, как впрочем и многие другие комедии и фарсы.

Вот если бы говорилось о самобытном европейском нигилизме, то было бы вполне уместно обращаться к загрязнению, опошлению и искажению идеалов, для объяснения бегства от них, жажды и алчбы новых идеалов.

В самом деле, посмотрим на идеалы религиозные, христианские! Мы увидим не Иудушек и Тартюфов, а родственные нам прибалтийские Славянские племена и рядом с ними Литовцев, Латышей, Эстов, затопленных в своей крови, обращенных в рабство, во имя христианского идеала, насильственно им навязываемого, что конечно есть его загрязнение и искажение; увидим то же самое и в новооткрытой Америке; увидим Крестовые походы против еретиков: Альбигойцев, Вальденцев, Гугенотов, увидим Варфоломеевскую ночь; увидим святую инквизицию и святой иезуитский орден, употребляющий для своих целей отраву, убийство, развращение нравственности казуистикою; увидим торговлю благодатью, продажу индульгенций искупающих прошедшие, настоящие и будущие грехи, по столько-то за штуку или за дни, недели, месяцы и годы. Все это увидим мы совершаемым не каким-либо Тартюфом или каким-нибудь отдельным лицом, и не как сознательно-лицемерное или бессознательно-грубое отступление от христианского идеала, - а как нечто якобы логически вытекающее из этого идеала, и притом, и это главное, совершаемое и проповедываемое теми, кто считал себя поставленным хранить Святую-Святых и непогрешимо истолковывать ее истины и тайны, то есть самую римско-католическую церковь. Не мудрено, что наконец умы и сердца отвернулись от этого идеала, как от действительно загрязненного, опошленного и искаженного. Протест и реформа понятны именно как бегство от загрязненного и как жажда нового, лучшего, высшего идеала. Казалось, он и воссиял в своей первобытной чистоте. Но лекарство вышло едва ли не хуже болезни. Идеал очищался, но очистка огнем рационалистической критики улетучила его, скобление выскоблило до разрежения в полное ничто, то есть в идеал чисто-личный, субъективный и, следовательно, произвольный, а по произвольности и необязательный; ибо всякий может его составлять по образу и подобию своему, своих чувств, страстей и мыслей. Ковчег его, церковь была разбита. Одни ложным пониманием и ложными выводами загрязнили идеал до неузнаваемости и оттолкнули от него души людей, другие улетучили его до полного исчезновения ложною методою очистки.

Подобно тому, как римский католицизм был нравственным и религиозным идеалом европейских народов, феодализм был их идеалом политическим, проистекавшим от завоевания. Цепь властей вершилась в императоре и нисходила от него через королей, герцогов, графов и баронов до последних звеньев власти, распределяясь между ними и над покоренными народами, и над завоеванными землями. Правильные отношения между

этими звеньями, правомерное определение и ограничение власти сюзеренов над вассалами и главных вассалов - в свою очередь сюзеренов, - над второстепенными, и таковое же определение и ограничение подчиненности вассалов к сюзеренам, которая называлась лояльностью, и взаимные их рыцарские отношения к равным, - вот в чем состоял политический идеал как чисто Германских, так и Романо-Германских народов. Положение низших подвластных людей уже ни в какой расчет не принималось, до такой степени, что даже уже в очень позднее время, уже в начале так называемых Новых веков, когда возникло протестантство и повлекло за собою ряд религиозных войн, при установлении мирных договоров во Франции и Германии обращалось внимание лишь на религию сюзеренов разных степеней; масса же народа должна была следовать религии своих господ, и это не на практике только, а в самой теории, и потому вовсе и не считалось сколько-нибудь несправедливым, каким-либо угнетением или насилием, ни со стороны господ, ни со стороны народа. Этими договорами определялось таким образом, кому быть католиком и кому протестантом. Так ведь, например, и в нашем Остзейском крае рыцари сложили с себя обет монашества и приняли реформу, а за ними последовали и подвластные им Латыши и Эсты, без всякой проповеди, без всякого убеждения. Это сделалось как нечто само собою разумеющееся, без всякого насилия и принуждения со стороны господ, также как и без всякого сопротивления или протеста со стороны народа. Русский, читая это, ошалеваает, становится в тупик. До такой степени кажется ему это диким, непонятным, немыслимым, невмещающимся в его сердце и ум, точно как если бы дело шло о происходящем на другой планете, а не у нас на земле. Вот где были истинные, а не метафорические крепостные души, в полном, реальном значении этого слова!

Для отрицания такого идеала не было уже конечно никакой надобности в его загрязнении или искажении; он уже сам по себе носил в себе достаточное для этого количество и лжи, и грязи. В чистом виде он и существовал поэтому недолго, а постепенно разрушался уже со второй половины так называемых Средних веков; но совершенно был разрушен на практике и отвергнут в теории лишь Французскою революциею и последовавшими за нею, как во Франции, так и в других странах Европы, мелкими революциями. Но так же точно, как при протестантском идеале, следовавшем за католическим, и тут, вместе с отвержением ложного идеала (а не загрязненного и искаженного только) была разрушена и самая идея власти, ибо высшие народные идеалы не сочиняются, не составляются искусственно, а коренятся в этнографической сущности народа. Они зарождаются и вырабатываются в бессознательно творческий период их жизни, вместе с языком, народною поэзию и прочими племенными особенностями. Впоследствии, в исторический сознательный период их жизни, эти идеалы только развиваются и укрепляются, или же разрушаются, но не восстанавливаются и не изменяются иными органическими идеями. Как невозможно при помощи таланта и искусства сочинить вторую Илиаду, также точно не возможна выработать народу, при помощи науки, новый

политический идеал, ибо это значило бы заменить живое и органическое, всегда и во всем бессознательно родящееся, мертвым и механическим, сознательно составленным. За потерю первого и является необходимо это механическое и мертвое заместительное органического и живого. Таковое и было найдено в договоре, то есть в воплощении взаимного недоверия. В первый раз сознательно и научно принцип этот был формулирован Руссо, и хотя учение его об общественном договоре в сущности, в теоретическом учении о государстве, и не верно, но в применении к данному фазису исторической жизни европейских народов - договор составляет действительно единственно возможный источник власти, ибо естественного, природного, бытового начала власти, по разрушении феодального начала, у них уже не стало, а где есть еще остатки, и там они постепенно ослабевают и исчезают. Отсюда вытекает, например, часто встречающаяся у европейских публицистов мысль, что монархия невозможна без аристократии, служащей ей вместе проводником к народу и столпом, на который она опирается. Соответственно этому пониманию монархии, в Германии, например, где также настоящий феодальный аристократизм очень расшатался, ослабел и представляет уже очень некрепкий столп и слабую опору, стараются поддержать и даже создать мужицкую аристократию, разными мерами, придумываемыми для воспрепятствования разделов, через наследство ли, через долги ли, крестьянских майоратов или миноратов, чтобы таким образом выставить против разных разлагающих элементов новую консервативную силу. С европейской точки зрения оно и понятно, что так оно и должно бы быть. Для Европейца - феодализм, или договор: другой альтернативы для основания политической власти и не существует. Но договор требует всякого рода взаимных гарантий, и единственно санкцией их исполнения для подвластных служит и может служить лишь право возмущения, право революции, право возводимое даже в обязанность. Это начало гарантий, вытекающее из договора, и составляет новый, так сказать, протестантский политический идеал, известный под именем конституционализма.

Само собою разумеется, что и в политическом отношении те, коих томят жажда и алкание идеала, должны бежать от этого механизма и мертвечины; а как живого и органического найти не могут, то полное отрицание, то есть нигилизм, и остается их единственным прибежищем, - нигилизм же в политике называется анархией. Они как бы говорят: в нашей долгой исторической жизни мы ничего не нашли кроме лжи, а вне ее, если бы что и было, оно для нас бесполезно, ибо если нельзя самим себе составить идеала искусственного, то тем еще менее можно взять его напрокат, заимствовав снаружи, и в таком случае, единственное, чего мы можем желать, будет возможно полнейшее и возможно скорейшее разрушение существующего, дабы настала возможность на просторе, без всяких помех и препятствий, народиться и органически выработаться новому политическому идеалу.

Но с разрушением феодального политического идеала, вместе с тем и принципа власти вообще, уничтожены не были и все его экономические и социальные последствия. Частью они остались со своим феодальным характером, в других же частях построились сообразно новому революционному или протестантскому характеру. Феодальным осталось отношение народа к земле, оставшейся за ее феодальными завоевателями, или за теми, коим она была передана продажею или иными способами приобретения. Сохранившиеся же от прежнего времени и вновь образовавшиеся, вследствие громадного развития промышленности, капиталы и отношение к ним труда устроились по новому принципу свободного договора, - приведшему здесь к желанному в политике анархическому результату, к формуле: *laissez faire, laissez passer*, которая и была возведена в экономический идеал, освященный и новою наукою политической экономии.

Эта свободная игра экономических сил, никаким авторитетом не стесняемая, никакою предвзятою целью не направляемая, должна была произвести экономическую гармонию, насколько эта последняя вообще достижима. В недавнее время и еще наука, из разряда особенно уважаемых положительных наук, явилась как бы на помощь политической экономии, объявив, что удивительные результаты гармонии и целесообразности, коим уже издавна привыкли изумляться в области органической природы, были также достигнуты ничем иным, как тою же формулою: *laissez faire, laissez passer*, т.е. свободною борьбою органических форм за право существования, производящею естественный подбор, коему мы обязаны как всею гармониею органической природы, так и самим разнообразием органических существ. Следовательно, научная санкция была полная. Но тем не менее, многие из взиравших на эту гармонию, как она установилась в области экономических отношений, усмотрели, что отношения эти, исходя, по-видимому, из начал совершенно противоположных феодализму, привели однако к совершенно тем же результатам, т.е. к феодализму индустриальному, вместо прежнего феодализма земельно-аристократического. Но здесь логика их покинула, и от анархии они стали апеллировать к анархии же; от анархии частной, в одной области человеческих отношений (экономической), к анархии полной, распространяющейся на все отношения.

Не все однако же поступили столь нелогично. Иные, видя, что жалкое, вполне зависимое положение рабочих классов прямо происходит от применения принципов анархии к экономическим отношениям, обратились к началу противоположному, именно к началу организации труда, т.е. к распространению власти государства и на экономическую область. Но логичнее были они только по-видимому, потому что в политическом отношении придерживались договорного начала. Но очевидно, что, при всяком договоре, каждая из договаривающихся сторон выторговывает у противной стороны как можно больше, а уступает ей в замен как можно меньше. Такова уже природа всякого договора. Следовательно, сбыточное ли дело, чтобы управляемые уступили управляющим при договоре такую

власть, которой они не имели даже при феодальном устройстве власти? Не наше дело, однако же, показывать теперь, насколько логичны, или нелогичны умы дошедшие до отрицательного отношения как к экономической, так и к другим сторонам жизни европейских народов: мы имеем в виду ведь только показать, как могли у них самобытно развиваться различные виды отрицания или нигилизма. С этой точки зрения, мы можем сказать, в параллель вышесказанному о религиозном и политическом нигилизме, что экономический идеал организации труда властью составляет такую же переходную ступень, как протестантизм в области религии и конституционализм в области политики, и что неудовлетворительность его привела и тут к полному отрицанию или нигилизму, т.е. к анархизму. Но особую характеристическую черту, по отношению к экономическому идеалу, составляет тот ложный круг в котором приверженцы его должны вращаться, как я уже об этом упоминал, апеллируя от анархии к анархии же, как что их единственное логическое прибежище заключается в том, что они апеллируют от анархии частной к анархии общей, как бы говоря: хотя экономическая система обществ и была построена на анархическом принципе *laissez faire, laissez passer*, тем не менее, однако же, она оказалась неудовлетворительною, потому что была недостаточно анархична, будучи стесняема религиозными и политическими принципами, которые также должны сделаться анархичными, чтобы первый мог принести все ожидаемые от него плоды.

Взглянем теперь на развитие философии, к области которой ведь собственно принадлежит и нигилизм, насколько он теория и мирозерцание. Европейские народы получили свое философское наследие от народов классической древности, и преимущественно от Греков, - наследие, к которому в течение долгого времени и они относились подражательно, сначала, в средневековой схоластике, к философии Аристотеля, переданной им Арабами, а потом и к прочим философским системам, со времени Возрождения. Хотя эта подражательность и была совершенно иного свойства, чем наша, ибо соединялась по крайней мере с тщательным изучением воспринимаемого, она все-таки оставалась бесплодною и только связывала умы, лишая их смелости самостоятельного мышления и исследования. Но на подражании в Европе не остановились, а дерзнули мыслить самостоятельно и самобытно, начав с знаменитого Декартова сомнения, с целью отыскать твердую точку опоры для достоверности познания сущего, буде таковая имеется. Известно, в чем ее нашел, или думал найти, Декарт. С этого, по общему понятию, начинается развитие новой философии. Положенное французским мыслителем начало развивалось, видоизменялось, дополнялось и, казалось, завершилось стройною системой действительного познания сущего в монадологии и предустановленной гармонии Лейбница, составившею таким образом в философии явление аналогическое, или скорее параллельное, тому, чем были католицизм в религии и феодализм в политике. В довершение этого параллелизма, и тут начинается в критической философии Канта критика достигнутого, по-видимому, метафизического идеала. Она отвергает возможность познания

вещей самих в себе, в их действительной сущности, т.е. метафизически отрицает метафизику, так же точно, как критическое протестантское богословие богословски отрицает всякое положительное богословие. Но после того, как метафизическое умозрение обошло это затруднение ловким приемом, - тем что самая критика познания, утверждающая его недостаточность для познания сущности вещей, сама подвержена тому же сомнению, - и снова стало себя утверждать, как тождественное в ходе своего развития с самим объективным процессом развития мира, оно снова получило временное господство над умами. Это изумительное притязание возбудило общую против себя реакцию, приведшую к совершенному отрицанию философии вообще, т.е. к нигилизму и в этом отношении.

Как бы навстречу этому движению, и положительная наука - эта слава и величайшее приобретение нового, или точнее Кельто-Романо-Германского мира, - также пришла к отрицательному к самой себе отношению. Под этим отрицанием положительную науку самой себя, или нигилизмом в науке, разумею я позитивизм, или так называемую положительную философию Конта. Утверждая, что наука ограничивается исследованием явлений и их законов, т.е. собственно говоря того, что замечается общего в различных более или менее обширных группах или разрядах явлений, и отвергая для науки возможность познания причин, и в то же время отрицая возможность всякого другого способа - методы - познания, кроме положительно научного, - позитивизм очевидно низводит значение науки к ее практической применимости и к удовлетворению любопытства, т.е. к приятному занятию разгадками разных задач, предлагаемых миром нашему любопытству.

Показывая в кратком очерке, как во всех проявлениях жизни европейская мысль доходила до отвержения своих начал, или до нигилизма, я вовсе не имел намерения доказывать этим путем ложность начал, лежащих в основании всех сторон жизни европейских народов. Моя цель заключалась единственно в констатировании того, что эти отрицательные результаты, между весьма многими другими положительными, были достигнуты там вполне самобытным и самостоятельным путем, точками отправления для коего послужили действительные явления тамошней жизни, и это после долгого хода развития, правильность или неправильность, законность или незаконность коего остается теперь для нас совершенно в стороне.

Можем ли мы указать на такую же самобытность в истории нашего нигилизма? Можем ли указать на точки его отправления из реальных же явлений нашей жизни, в том смысле, чтобы идеалы лежащие в их основе были подвергнуты критике, которая заставила бы от них отвернуться и пуститься в погоню за новыми высшими идеалами, заставила бы отыскивать их в поте лица, и уже за сознательным отвержением первых и необретением вторых, остановиться на всеобщем отрицании, на нигилизме? Можно ли указать на самостоятельный путь этого критического процесса развития?

Прежде всего спросим: в чем заключаются пункты обвинения против учения православной церкви, по коим она могла бы подлежать укору в загрязнении или искажении христианского идеала? Ведь Иудушки для этого

очевидно не годятся! Тут, без сомнения, необходимо бы указать на явные противоречия с идеею христианства в учении или в практической деятельности, подобные тем, на которые нам указывает история римского католицизма, и которые фактически породили против себя протест, или на то зерно, на тот зародыш саморазрушения, который заключает в себе протестантизм, и разлагающее, улетучивающее действие которого на само понятие церкви также фактически проявилось в истории. Если видим что-либо подобное в нашей церкви, то никак не у нигилистов, а пожалуй у различных наших сектантов, как у старообрядцев, так и у мистиков и рационалистов. У них мы действительно найдем критику нашей церкви и идеала ее, - справедливую или нет, до того мы ведь не касаемся; мы констатируем только исторический процесс, и можем сказать: да, у наших сектантов мы находим самобытно-отрицательное отношение к нашей церкви. Но в каком же родстве находятся с ними наши нигилисты? Что между ними общего? Столь мало, что даже, когда они хотели поддаться к ним, были совершенно отвергнуты, как нечто совершенно чуждое.

Если вникнем в отношение нигилизма, да и прочих, менее радикальных течений нашей интеллигенции, как к нашему религиозному, так и ко всем прочим нашим идеалам, то, пожалуй, и действительно найдем, что составляло в их глазах загрязнение и искажение этих идеалов. Это было то, что эти идеалы носили на себе печать всяческого отвержения, именно, что они были свои, русские. Такой печати было вполне достаточно, чтобы, не вникая в сущность и глубь их, уже просто и прямо считать их вполне негодными. - Если всякая мелочная бытовая черта считалась уже чем-то достойным презрения, потому что была русскою, - как это, например, отразилось в самом языке тем презрительным оттенком, который присвоился у нас слову "доморощенный", - то во сколько же сильнейшей степени должно было это относиться к тому, что выставлялось, - *horribile dictui* - русским идеалом религиозным, политическим, экономическим! Этого одного, конечно, было достаточно для их отвержения. Может ли что хорошее происходить от Назарета!

Отношение наших отрицателей к политическому идеалу Русского народа было, если возможно, еще проще, еще элементарнее. Вникать в его сущность, в его особенности, сравнительно с политическими идеалами других народов, без чего ведь никакое критическое отношение не возможно, - об этом никто и помышления не имел. Не обращалось внимания и на то, что это идеал чуть не ста миллионов людей, не со вчерашнего дня появившийся, а переживший столько исторических превратностей, мало того, не раз восстанавливавшийся самим Русским народом, когда ход событий делал его более или менее полным хозяином своих судеб. Правда, была черта в общественном и политическом строе России, которая не могла не считаться настоящим загрязнением и искажением политического идеала ее народа. Я говорю о крепостном праве.

Но кому же было неизвестно, что оно никогда не было основною характерною чертою его быта, необходимым продуктом его истории,

существенною составною частью его общественного и политического идеала, подобно западному феодализму, а только случайною, временною политическою или скорее административною мерою? Именно на этом примере крепостного права не оправдалась ли вера Русского народа в его политический идеал, не пало ли рабство по манию Русского царя? И вот тут-то явилась во всей своей силе ирония судьбы. Как раз в то самое время, когда осуществлялись надежды народа, когда политический идеал его столь блистательно и беспримерно оправдывался, в это самое время нарождался нигилизм, т.е. нарождалось отрицание, между прочим и даже главным образом, этого самого идеала. Какое доказательство подражательности, несамобытности, беспочвенности нашего нигилизма может сравняться с этим совпадением? Не очевидно ли после этого, что он не исходил из явлений русской жизни, как из точек своего отправления? Более посчастливилось, правда, самобытным экономическим явлением русской жизни: общине и артели. Но почему? Как, по Канту, на неведомую нам сущность вещей самих в себе мы надеваем субъективные формы нашего созерцания: пространство и время, и только в них их постигаем, также точно и наши демократы, социалисты и нигилисты надевают на совершенно неведомую им сущность экономических явлений русской жизни, общину и артель, формы западного социализма, и вне их не могут их постигнуть ни поклонники, ни хулители. Какое же после этого может быть и тут самостоятельное отношение, будет ли оно критическое или утвердительное!

Про философию и говорить нечего: самостоятельного философского движения в России не было, не было даже и того, хотя бы подражательного, усвоение древней и новой философии, какое мы видим в средневековой Европе, не говоря уже о свободном и самостоятельном к ней отношении; следовательно, не могло быть и самостоятельной критики, которая бы привела к ее отрицанию, и отрицание это могло быть также только заимствованным, подражательным.

И так, если все отрицательные положения нашего нигилизма суть повторения таких же положений западной мысли, если, сверх сего, нельзя признать, что точками отправления этих отрицаний служили явления русской жизни, что эти отрицания были плодом самостоятельной критической русской мысли, в каковом случае можно было считать наш нигилизм самостоятельную проверку западного нигилизма, пришедшую от новых точек отправления, самобытным трудом и развитием мысли, к одинаковым результатам с западным нигилизмом; то ничего не остается, как признать его за явление вполне подражательное.

Прямой ход доказательств привел нас, следовательно, к признанию подражательного характера нашего нигилизма. Но в явлениях такой сложности, как все явления общественные, и в особенности как направления мысли и общественного мнения, один прямой ход доказательств редко бывает достаточен и вполне убедителен. Тут необходимо озираться по сторонам и тщательно осматривать - не изменяется ли наш вывод разными побочными обстоятельствами, не вошедшими в круг тех оснований, на коих

мы его построили, и однако же существенно на него влиявшими, и не пришли ли мы через эту односторонность к ошибочным заключениям, повидимому строго и безукоризненно логическим. Эта прямолинейность мысли, как назвал ее, кажется, Достоевский, и есть именно то, что называется радикализмом, который ничто иное, как крайний рационализм. Но этот крайний рационализм или радикализм даже и в области мысли, не говоря уже о практике, пригоден только в одном отделе знания - в математике.

Здесь, действительно, начав с верного, само по себе очевидного первоначального положения и правильно умозаклячая (на что строгая метода всегда дает возможность), мы неизбежно приходим и к верному выводу, без возможности ошибиться по пути. Но почему это так? Потому что всякое первоначальное математическое положение есть наше собственное же определение, про которое мы можем утверждать, что в него ничего не вкралось от нас независимого, само по себе данного; можем утверждать, что все, что мы в него вложили, в нем действительно и есть, и что напротив того, в нем кроме этого ничего нет другого, независимого, особенного, т.е. такого, которое не вытекало бы уже из принятого, как необходимое его следствие. Например, мы говорим: окружность есть замкнутая кривая линия, внутри которой есть точка - центр, от коей все точки кривой находятся в равном расстоянии. Это не более, как наше собственное определение, на которое мы были только наведены действительно существующими фигурами, похожими на окружность; и поэтому, именно то свойство, которое мы вложили в нашу идеальную кривую, в ней не только вполне и в совершенстве есть, но и никакого другого, независимого от этого, свойства в ней нет. Очевидно, что ни в каком действительно эмпирически данном случае это условие не соблюдено, или, по крайней мере, нам неизвестно, что оно соблюдено, ибо, во всех этих случаях, данное, в них заключающееся, не нами в них вложено, а существует от нас независимо, само по себе, нами же лишь замечено или открыто, и поэтому, строго говоря, мы никогда не можем быть уверены, что чего-либо из этого независимо от нас данного мы не пропустили, или по ошибке туда чего-нибудь не привложили лишнего, там ненаходящегося. Во избежание возможных от сего ошибок, ничего не остается, как не довольствуясь прямым логическим выводом, осматриваться кругом, по сторонам, не оказывается ли где чего-либо противоречивого в наших выводах с иными, вне нашего прямого вывода лежащими следствиями нашего положения.

Применяя это рассуждение к занимающему нас вопросу о русском нигилизме, мы действительно легко увидим, что есть такие обстоятельства, которые кажутся несогласующимися с нашим выводом, а именно: во 1-х, если наш нигилизм явление подражательное, западный же явление - самобытное, происшедшее от самостоятельного критического мышления, постепенно развивавшегося и исходившего из точек отправления данных тамошнюю жизнь; то как могло случиться, что наша интеллигенция (употребляю это слово в общепринятом у нас смысле) в сильнейшей мере одержима нигилистическим мировоззрением, чем интеллигенция западная?

Хотя мы и не имеем статистики умственных направлений, ни у нас, ни на Западе, но можем, кажется, с достоверностью утверждать, что если даже абсолютное число лиц придерживающихся нигилистических учений в Европе (на континенте по крайней мере) и больше, чем у нас, то относительное число их к общему числу лиц могущих причисляться к интеллигенции будет, напротив того, к несчастью, у нас гораздо значительнее. Во 2-х, если наш нигилизм - подражание, то почему предметом этого подражания в такой преобладающей степени стал именно нигилизм, а не другое какое явление, другой какой-либо плод европейской жизни и мысли, которых они ведь в продолжение своего долгого пути произвели много, и притом прекраснейших, прежде чем в некоторых из течений своих дошли до нигилизма? В 3-х, нигилизм родился, развился, разросся и распространился у нас внезапно, в тот самый момент, как только представилась ему возможность высказаться в слове и деле. Как же объяснить эту быстроту и внезапность? Когда и как успела подражательность именно в этом одном направлении обхватить собою такую значительную часть нашей интеллигенции, чтобы оно могло стать господствующим? Не указывает ли это, напротив, на долговременное подготавливание, а следовательно и как бы на некоторую продолжительную подготавливательную работу мысли, что уже предполагает и некоторую самостоятельность ее?

На все эти три вопроса, думается мне, можно дать вполне удовлетворительные ответы только с точки зрения на наш нигилизм как на явление подражательное, а не с какой другой.

Относительно меньшее распространение нигилизма в Европе зависит от других причин. Западная жизнь в своем долговременном и славном течении не могла не породить сильной приверженности и любви к различным фазисам или этапам своей эволюции. Возьмем для примера французский легитимизм. Много ли в этой почтенной партии лиц действительно верящих в возможность возвращения старинной французской монархии, с ее знаменем белым, украшенным лилиями, и со всем, что им символизируется? Должно думать, что очень мало, - так мало, что едва ли и остались такие после смерти графа Шамбора; да весьма сомнительно, чтобы и тот верил в осуществимость своей мечты. Но древняя слава, древний блеск французского королевства - этого *le plus beau royaume, apres celui des sieux*, - действуют так обаятельно не столько на умы, сколько на сердца многих французов, не потерявших исторического чувства, что, вопреки невозможности, в глазах их рассудка, восстановления этой золотой для них поры, они предпочитают отвращать глаза от действительности и жить в этом прошедшем своею любовью и своими сердечными привязанностями. Радикалы, стоящие теперь во главе школьного дела во Франции, стремятся вытравить из молодого поколения эту любовь и уважение к прошедшему, стараются вселить в него убеждение, что французская история, то, что достойно носить название истории, началась только с 1789-го года. Но пока это им плохо удастся, и XVII век продолжает для Французов сиять в ореоле

всякого рода величия, тогда как у нас изречение, что Петр I создал Россию, было так легко и охотно принято за великий исторический афоризм.

Но не одни легитимисты питают такую бескорыстную любовь к прошедшему. Все режимы, испытанные Францией в столь богатое переворотами последнее столетие, оставили искренних и жарких поклонников. Суровый, грозный и преступный 1793 год идеализуется своими поклонниками, читателями единой, нераздельной, демократической, беспримесной (даже для идей социализма) республики. Имеет их не мало и славная Первая империя, и конституционная буржуазная Июльская монархия, и даже так осрамившаяся под конец Вторая империя. Про Англию и говорить нечего. Любовь ее к прежним формам жизни слишком известна и многими ставится ей даже в укор. Но что такое немецкий романтизм, некогда господствовавший в литературе, а ныне перешедший на музыку, как не любовь и поклонение древнему величию и древней славе империи Гогенштауфенов? И мы не ошибемся сказать, что этот романтизм, как излюбленная немецкая идея, осуществился в соответствующей времени форме в Бисмарковом единстве Германии. - Возьмем, как пример из другой области жизни, знаменитого Ренана. По своим взглядам на религию, он конечно полный радикал, но назовем ли его нигилистом в этом отношении? Нет, потому что он сохранил любовь к старому идеалу - не христианства только, но и католицизма. У него сердце в разладе с умом. Многие называют это сентиментальничаньем, - пусть так; я, повторю еще раз, не хвалю и не осуждаю, а только констатирую факт. Другая причина, ослабляющая относительное значение нигилизма в Европе, еще важнее. Так как развитие жизни и мысли было там органическое, самобытное, то все стороны его не шли в ногу. Одни остановились на одном пункте, другие на другом; разумно или не разумно, последовательно или непоследовательно, логично или нелогично, но в пункте, на котором кто остановился, и видит он если и не абсолютную, то относительную истину, которая, хотя может и должна развиваться и идти далее, но не тем путем, которым пошли ушедшие дальше его, а иным, хотя бы еще вовсе неизвестным. Все эти промежуточные станции или этапы представляются им если и не полной целью пути, то законною и необходимою остановкою, и потому они далеки от нигилизма или полного отрицания. А если что и отрицают, то не весь пройденный путь, но только часть его после известного поворота, - не все достигнутые результаты и полученные плоды, а только те, которые выросли после того, как была покинута настоящая дорога. Другие находят и весь путь правильным, и думают продолжать плавание не изменяя румба компаса. Так это и в религии, и в политике, и в экономическом и общественном быте, и в искусстве, и в философии, и в положительной науке. Очевидно, что при таком положении дела, остается много мест незанятых нигилизмом в общественном мнении, много людей упорно стоящих на различных этапах развития.

У нас, этой любви к прошедшей жизни не было и не могло быть там, где мысль была настроена подражательно, ибо подражательность

необходимо предполагает отсутствие любви к своему. Если бы она сохранилась, то как бы бросили свое и обратились к чужому? Подражательность и любовь к своему - понятия взаимно исключающие друг друга.

Далее, если наш нигилизм подражание, а не самобытное явление, то само собою разумеется, что он не мог иметь своих фазисов развития, а следовательно никому из подражателей и не на чем было остановиться: не было станций, этапов, точек отдохновения и опоры, на которых можно было остановиться и стоять с любовью сердца и с упорным убеждением ума. - Но если не было точек опоры и остановки, за отсутствием хода самобытного развития, то почему же было не найтись таковым в самом ходе подражательности? Почему должна была эта подражательность обратиться, как к предмету достойному подражания, только к крайним точкам пути пройденного европейским развитием, точкам, оказавшимся отрицательными, нигилистическими? Это и составляет наш второй вопрос.

Отвечать на него также не трудно: таков уже неизбежный, необходимый результат всякой подражательности, в чем бы она ни заключалась, к какой бы области жизни и мысли не относилась. Подражательность, по самому существу своему, характеризуется самою крайнею радикальностью некоторого особого рода и свойства, - радикальностью не по существу, а по временной последовательности явлений. Сакраментальные слова ее суть: "современная жизнь", "современная наука", "современное мышление", "современный покрой шляпки или платья", или "последнее слово", все равно, - науки, философии, жизни или мебелировки салонов. Иначе ведь и быть не может. Подражательность, сказали мы, да и без наших слов это само собою понятно, предполагает отсутствие любви к своему; а кто отрешился от этой любви - любви прирожденной, самобытной, роковой, то какую же собственно любовь может он иметь к чему-либо чужому? Ни к чему особенному, ибо это особенное не разобрано и не взвешено подражателем. Любезно ему в чужом то, что оно чужое, что оно принадлежит тому, кого оно считает достойным подражания, и в этом чужом привлекательным, достойным подражания очевидно может ему казаться лишь самое новое, самое последнее. В самом деле, с чего, с какой стати будет он подражать тому, что отвержено уже самим оригиналом, что им самим найдено несостоятельным и что он уже отбросил или ниспроверг, если еще не на деле, то по крайней мере уже в мысли? Очевидно, что только то, на чем остановилась передовая мысль, может, по мнению подражателя, заслуживать подражания. Скажут, что и подражатель мог бы отнестись критически к явлениям чужой жизни; но тогда, и поэтому самому, он не был бы уже подражателем, а самобытным деятелем или мыслителем, а если бы был самобытным, то начал бы с своих исходных точек, подверг бы их сначала изучению, а затем критике, и вел бы дело самостоятельную работою. Но именно этого-то наши подражатели, как всякому известно, и не делали, не делали потому, что свое без исследования признали негодным и недостойным исследования, а себя неспособными к исследованию,

доверившись чужим силам, как бы говоря: "вам и книги в руки". Доверившись же чужому уму и ходу чужой жизни, они должны были признать последние результаты деятельности этого ума за самое верное решение задачи из всех доселе предложенных как жизнью, так и мыслью. Подражатель и становится подражателем потому, что счел себя некомпетентным судьей в существе дела и потому принужден довольствоваться единственным оставшимся для него критерием или признаком истины - формальной последовательностью явлений по времени. Кто клянется словами учителя, тот может клясться ведь только его последними словами, а не теми, конечно, которые он уже сам отверг. Для подражателя жизнь и мысль предмета его подражания, - в нашем случае Запада или Европы, - развивалась закономерно и правильно; мы же только зрители этого процесса, осчастливлены возможностью пересаживать к себе готовые плоды его. Но какие же именно, если они различные? Конечно те, которые составляют последние слова, последние результаты развития образца. Тут и рассуждать нечего, да и не должно сметь рассуждать, - остается лишь благоговеть и воспринимать то, что он предлагает последнего, а следовательно и наилучшего. Другого признака для лучшего, по самой сущности подражания, у подражателя нет, и быть не может.

В конце пятидесятих годов случилось мне быть в Уральске и на тамошних вечерах видеть всех казачек, - какого бы чина их мужья или отцы ни были, одетыми в русский костюм, в бархатных, глазетовых, атласных сарафанах, очень красивых и нарядных. Любовь к своему родному, значит, предохраняла их еще лет около тридцати тому назад, - не знаю как теперь, - от подражания иноземным модам. Потому, что мы видим вокруг себя, это было явлением очень необыкновенным, странным, но однако же совершенно понятным и объяснимым. Любили они свое, старое, родное, казавшееся им красивым и удобным, и потому чужого не принимали. Но мыслимо ли, спрашиваю я, встретить в каком бы то ни было захолустье, перенявшем уже чужую одежду - старомодные платья, шляпку, прическу и т.п., знай что они старомодны, иначе как в маскараде? Столичный житель конечно найдет, что провинциальные щеголи и щеголихи во многом отстали от последних парижских мод; но ведь это только потому, что последние моды до них не дошли, а те, которым они следуют, они все-таки считают за последние. Критиковать же моду, находить, что новое хуже такого-то или такого-то старого, конечно не им, ни их столичным собратям в голову не войдет, потому что они подражатели, и в качестве таковых ни в какую критику не считают себя в праве пускаться, а всегда признают последнее превосходным и восхитительным. Последнее, новейшее - для них единственно мыслимый критерий для распознавания лучшего, удобнейшего, красивейшего в одежде, меблировке, сервировке стола, одним словом - во всем, к чему они относятся подражательно. Так же точно, если кто не имеет самостоятельного суждения о музыке, живописи и вообще о художественных произведениях, и однако же желает или считает себя обязанным высказывать о них свое мнение, то и ему ничего не остается, как руководствоваться новейшими,

последними из известных ему книжных или журнальных оценок. В глазах подражателя, и в высших сферах жизни и мысли, какой-либо интерес, значение и важность может иметь не жизнь или наука, а только последнее их слово: иначе он ведь рискует, по совершенно правильному с его точки зрения понятию, принять какой-нибудь старый, негодный, уже пережитой хлам за настоящий образец жизни и мысли, которым он и сам желает подражать и других подражать заставить. В таком образе мыслей находит подражательность не малую еще поддержку и подкрепление в учении о прогрессе. Если все движется поступательно и улучшительно, то не вполне ли естественно и разумно принять последнее за тождественное с наилучшим, с наиболее приближающимся к истинному? Конечно, говоря вообще, и при прогрессе считаются возможными и отклонения в сторону, и сбивания с пути, но ведь это принимается только вообще, так сказать для очистки совести; а в частности, где же тут разбирать и дело ли это подражателя! Это пусть уже разбирают те, которые почище, тем, которые сами поставляют прогресс. Если и ошибутся, то заметят ошибку и повернут в другую сторону; не велик будет труд повернуть вслед за ними.

Но во время появления нашего нигилизма случилась на небе европейской жизни и мысли такая конъюнкция или расположение руководящих светил, что радикализм присущий подражательности, т.е. радикализм современности и последнего слова, совпал с радикализмом по существу, который и есть нигилизм, - конъюнкция, которая и доселе продолжается. Посему нигилизм и должен был получить господство в умственном направлении нашей подражательной интеллигенции.

Теперь, последнее затруднение! Хотя новейшие моды, благодаря подражательности, принимаются очень скоро при нынешних средствах сообщения и распространяются весьма быстро; хотя, с другой стороны, и наш нигилизм явление также вполне подражательное: но все же его почти внезапное явление и быстрое распространение, подобное разливу воды прорвавшей плотину, или пламени охватившему солому, может казаться непонятным, недостаточно объясненным нашим истолкованием его подражательностью. Ведь образ мыслей, по самому существу своему, не может столь быстро меняться, как покрой одежды, мебелировка комнат или сервировка стола. Даже эти две последние менее быстро меняются, чем первый, потому что на них затрачивается некоторый капитал, и не всегда есть средства для их скорой замены, при всем желании ее сделать. А мысли, идеи - ведь их надо хоть сколько-нибудь себе усвоить; между новыми и старыми должна же предварительно произойти какая-нибудь борьба. А тут, в конце пятидесятых и в самом начале шестидесятых годов, произошла точно перемена декораций. Конечно, в глазах тогдашней интеллигенции авторитет гг. Чернышевского, Добролюбова, Писарева и прочих был очень высок, но ведь и сам этот авторитет надо было сначала им приобрести, так как это были все люди новые, а как известно, сам авторитет свой приобрели они ни чем иным, как проповедью тех же крайних идей, совокупность которых, вслед за Тургеневым, была прозвана нигилизмом. Мы вертимся следовательно в

ложном кругу: авторитет упомянутых лиц должен нам объяснить быстроту распространения идей; а только проповедь самих этих идей и доставила им авторитет, ибо других предшествовавших заслуг или прав на него за ними не водилось, да никто их им и не приписывал. Следовательно, должна была существовать в публике особая восприимчивость именно к этим идеям, особая внутренняя к ним симпатия. Как же, кем или чем были они произведены? В чем состояло приготовление к столь быстрому восприятию и распространению нигилизма в разных слоях нашей интеллигенции, заставивших некоторых думать и утверждать, будто есть какое-то естественное сродство с нигилизмом в самом духе русском?

Подражательность началась у нас с реформ Петра I, в своей страстности далеко перешедших за должную меру заимствований, необходимых тогда собственно лишь для некоторых чисто государственных потребностей. Эта подражательность распространялась постепенно на все области жизни и мысли, все возрастая и возрастая, и по разрядам явлений, к которым относилась, и по кругу сословий и лиц, которых охватывала из Петербурга, как из центра. Весьма было бы интересно проследить за ходом этого распространения в обоих смыслах. Для пояснения моей мысли, я приведу здесь лишь факт, что начавшись в области чисто государственной, с войска, флота (где действительно была необходима) и администрации, подражательность долго, почти все прошлое столетие не налагала печати своей на нашу внешнюю политику, которая, за небольшими лишь исключениями, оставалась самобытною и чисто-национальною до самой смерти Екатерины Великой, и во благо нам было это. — Только с этого времени потеряла наша внешняя политика национальность направления, и тем обратила всю нашу мощь в служебную силу для чуждых нам европейских, преимущественно же немецких интересов; а когда, в течение нынешнего столетия, и призывалась на короткое время народно-русская политика, под давлением ли общественного мнения, как в 1877 году, или по собственному почину руководящих лиц, как в 1828-1853 годах, это направление не имело выдержки, и даже при благоприятных результатах войн, достигнутых большими жертвами крови и денег, мы поступались ими.

Но подражательность эта, все возрастающая и расширяющаяся, была все-таки бессознательною. Мы даже обольщались мыслью, что идем путем самостоятельного развития. Только с конца тридцатых и начала сороковых годов, наша подражательность была приведена к осознанию, и притом с двух противоположных точек зрения. Одни, славянофилы, обличали ее и усматривали в ней корень и причину всех наших внутренних зол и неустройств, всей нашей культурной слабости. Другие, западники, напротив того, видели все зло нашей жизни в недостаточности нашей подражательности, в ее односторонности и несмелости. По их мнению, все зло заключалось в путах, налагаемых на нас национальностью, в путах, препятствующих нам свободно двигаться вперед по пути прогресса, начертанному Западом. Они обличали, отрицали и опровергали тогда, как и до сих пор это продолжают делать, мечту самобытности, и в заимствовании

сущности и форм западной жизни и мысли видели единственный путь спасения, единственный путь истинного прогресса.

Это западническое направление, проповедывавшееся в наиболее распространенных журналах и с кафедр талантливейшими и влиятельнейшими профессорами, завоевывало себе все больший и больший круг читателей и слушателей уже по одному тому, что гармонировало со всем подражательным характером, складом и строем нашей культуры. Скоро стало оно господствующим и в сознании нашей интеллигенции, как уже и прежде было на деле, и, несмотря на разные правительственные течения, на подтягивания и ослабления цензурных поводов, продолжало преобладать в течение всех сороковых и пятидесятих годов.

Этот проповедью сознательной подражательности были вытравлены из умов всякие начала самобытности, жившие в них хотя бы в качестве предубеждений или иллюзий. Даже всякое стремление к самобытности было заклеено названиями обскурантизма, косности и т.п. нелестными эпитетами, и этим самым была возбуждена алчба и жажда напиться и напитаться приготовленным уже и для нас на Западе брашном и питием. Умы, таким образом настроенные, были как губка готовая всосать в себя жидкость, или как пустой сосуд, ожидающий своего содержания и готовый всею силою пустоты втянуть его в себя, лишь только ему будет дано прикоснуться к нему своим горлышком.

Это западническое учение само по себе никакого содержания еще не предлагало, а только готовило к его восприятию. Но мы уже видели - каково непременно должно быть то содержание, которое соответствует подражательности, к которому она влечется, как бы по некоторому избирательному сродству, которого она настоятельно требует по свойству ее особого рода радикальности.

Часто можно слышать упрек, что подцензурная литература сороковых, а частью даже и пятидесятих годов, подготовила умы к нигилизму, который внезапно обнаружился в первые годы прошедшего царствования, тою затаенною проповедью отрицательных начал, которую тогдашние журналы умели искусно проводить в том, что печаталось в них между строк. От этого упрека, думаю я, должно их совершенно освободить. Этим я не хочу сказать, чтобы в них не было такого междустрочного содержания. Оно было. Отыскать и указать его было бы нетрудно. Но, не говоря уже о том, что оно не столь обыкновенно и часто встречалось, как полагают, и то, что встречалось, не имело и не могло иметь почти никакого действия на массы умов, по той весьма простой причине, что было понятно только для тех, которым и без того содержание этого междустрочного писания уже было известно, и которым следовательно оно ничего нового не сообщало, которых ничему не научало. Так называемое писание между строк есть своего рода письмо символическое, потому что оно под видимым смыслом скрывает другой, потаенный. Но символическое письмо, за редкими исключениями, может быть разгадано или только теми, кто имеет ключ к нему, или теми, кому уже известно его содержание. Так ведь, например, и иероглифы были

прочитаны Шамполионом лишь благодаря тому, что ему посчастливилось найти греческий перевод иероглифической надписи. Но какой труд, какое внимание требуются для прочтения всякой криптографии! - и можно ли предположить, чтобы обыкновенный читатель, не любящий и не привыкший слишком углубляться в смысл им читаемого, и только слегка по нем скользящий, задал себе труд отгадывать смысл этого таинственного междустрочного письма, хотя конечно он и гораздо легче отгадывался чем египетские иероглифы? Так, недавно обратила на себя внимание и наделала много шума одна олеография, разосланная "Нивою", как премия ее подписчикам. Удивительные вещи указывались в ней, также, будто бы, междускладочно (если позволено так выразиться) в ней нарисованные. Признаюсь, и после указаний я немного тут разобрал. Но если бы указаний не было, если бы шум не был поднят, то не зависимо от того, есть ли что между складками или нет, олеография успела бы преспокойно отвисеть свое время на стенах и быть заброшенной на чердаки и в чуланы, не обратив на себя ничьего внимания в тайнописном отношении. Точно тоже было и с противоцензурною, отрицательною, нигилистическою, что ли, междустрочною проповедью журналов сороковых годов. В большинстве случаев, обыкновенный читатель даже и не догадывался, что между строками что-нибудь написано, - и если оно и было в самом деле написано, то совершенно для него незаметными симпатическими чернилами, подносить которые к жару или посыпать проявительным порошком ему и в голову не приходило, да и порошка такого у него вовсе не было.

Нет, не эта тайная междустрочная проповедь отрицательных начал, или точнее только намеки на них, во всяком случае отрывочные, бессвязные и мало кому вполне понятные, послужили подготовкою нигилизму. Подготовкою этою была явная, открытая проповедь подражательности, хорошо известная и самой цензуре и той высшей полицейской власти, которая имела своим специальным назначением следить за направлением умов. И не только была она им известна, но сверх сего была и одобряема ими и им сочувственна, ибо вполне гармонировала со строем нашей жизни и только приводила к осознанию весь ход последнего периода нашей истории.

Кроме утверждения в умах этого стремления, этой сознательной уже жажды и алчбы к подражанию, ничего более и не требовалось для наполнения их нигилизмом при данных условиях, при данном положении европейской жизни и мысли; ибо, как я уже показал выше, не сама жизнь, не сама наука, не сама мысль важны для подражателей, а только последнее их слово.

При других условиях подражаемого образца, и явления были бы другие. Умы подражательные, из коих и жизнью, т.е. ходом исторического процесса, и литературною, и изустною проповедью вытравлено самобытное содержание и любовь к своему, могли бы одинаково наполниться всякими отвлеченными идеалами: и средневековым романтизмом, и аристократизмом, и любою философскою системою, так же точно, как и нигилизмом, смотря по тому, какое направление было бы в данный момент последним словом жизни

или мысли той культурной среды, которая служит им образцом для подражания. Но, во всяком случае, результат этот, каким бы он ни был, был бы в сущности одинаково вредным, хотя бы и не проявлялся в форме столь острой болезни, как наш нигилизм.

Я собственно кончил, но однако ж для полноты должен представить еще одно разъяснение. Неужели не нашлось своевременно в России умов достаточно прозорливых, чтоб понять всю ложь, весь вред, все бессмыслие подражательности и противостоять ей? Я уже заметил, да и всем это известно, что почти одновременно с западничеством возникло у нас и противоположное направление умов, вполне это понимавшее и видевшее единственный путь спасения и преуспевания в самобытности развития. К этому направлению принадлежали люди высокоталантливые, высокообразованные, и притом не только проникнутые идеями русской жизни, но и гораздо лучше своих противников знакомые с ходом развития западной жизни и западных идей, - с европейскою жизнью, наукою и мыслью. Но бессознательная подражательность была уже так вкоренена в умы самих власть имевших, что, инстинктивно симпатизируя с западным направлением, приняли и они возжигаемый славянофилами спасительный маяк за обманный огонь, ведущий корабль на подводные скалы и мели. Известно, что не только когда западное направление процветало под строгою цензурою, но и когда значительная степень свободы, сначала под легкою цензурою, а потом и вовсе без нее, была дана нашей литературе, когда не только неопределенно-западнические, но уже и прямо-нигилистические идеи могли открыто печатно излагаться и страстно проповедываться: издания славянофилов, как наименее вредные, запрещались одно за другим: "Молва", "Парус", "День", "Москвич" - как костями покрыли скорбный путь, которым должно было пробиваться русское самобытное направление. Даже издание, не относившееся собственно к славянофильскому направлению, но родственное ему тем, что также стояло за самобытность, именно "Время" Достоевского, было запрещено при самом свободном взгляде на литературу из-за пустой обмолвки или недоразумения по польскому делу, между тем как другие журналы и газеты, явно сочувствовавшие польщизне; продолжали благоденствовать. Так претила всякая мысль о самобытности! А противодействие часто талантливой и страстной проповеди подражательности противниками по меньшей мере столь же талантливыми, конечно, имело бы весьма сильное влияние в то именно время, когда учение о сознательной подражательности только что начиналось, не успело еще окрепнуть, утвердиться в умах и находилось, как говорится в химии, *in statu nascenti*. Впоследствии, когда, на свободе распространившись и утвердившись, оно получило, подобно всякому учению, в значительной мере, характер догматичности, неоспоримости и предрассудка, искоренить его уже было трудно. Я не хочу этим сказать, что если бы славянофильскому направлению дана была та же свобода развиваться и распространяться своевременно путем печати, как направлению противоположному, - то мы совершенно бы избавились от

нигилизма: но полагаю, что смело можно утверждать, что он никогда бы не занял тогда господствующего положения в среде нашей интеллигенции, всегда встречал бы в значительной ее доле сильный отпор, и потому не получил бы того повального характера, тех пагубных последствий, какие имел и до сих пор еще имеет.

Таким образом, по независимым, как у нас говорится, от редакции причинам, западническое направление, сознательно стоявшее за подражательность, не имело достойных себе противников. Таковыми были лишь издания с так называемым казенным направлением, которые своею бездарностью, тошноту возбуждающим подобострастием, льстивостью и лживостью тона, в сущности, служат отрицательным образом тому же делу, как и западнические, выгодно оттеняя их собою.

При этом невольно воскликнешь: какую неразумною и страшною силою может сделаться цензура, какие медвежьи услуги может она оказывать, как велик может быть приносимый ею вред, при всем желании принести пользу, и потому как должна она быть осторожна не столько в том, что она допускает, сколько в том, что она запрещает! Так и в настоящем случае, не в том должно ее обвинять, что она пропускала междустрочные намеки, - мы видим, что они были почти безвредны, и не в том, что под сенью ее процветало западническое подражательное направление, - какой мало-мальски законный предлог могла бы она иметь, чтобы стеснять его? - а в том, что она яростно преследовала то единственное направление, которое могло бы служить противовесом учению о подражательности, из коего проистекает все наше зло: как нигилизм, - указанным мною косвенным путем, - так и всякое другое, в какой бы то ни было стороне жизни и мысли.

И так, кажется мне, на все три вопроса ответил я удовлетворительно, показав: как и почему относительное распространение нигилизма значительнее в нашей интеллигенции, чем на Западе; почему подражательность наполнилась именно нигилистическим, а не другим каким содержанием; и наконец - почему нигилизм мог так быстро, почти внезапно возникнуть и так широко распространиться, и что послужило подготовлением к этому¹.

Из этого же разбора причин и условий происхождения и распространения нашего нигилизма выясняются и те средства, которыми это печальное? явление нашей умственной жизни могло бы быть уврачевано и устранено. Один из этих путей был бы тот, от нас независимый, если бы сама подражательность наша получила другое направление, что могло бы

¹ Остается просить глубокоуважаемого автора, чтоб он также тщательно, в среде самих *жизненных на Руси явлений*, раскрыл причины благоприятствовавшие успеху заносного нигилизма, побуждавшие свое, *родимое зло* лечить лекарством от чужой болезни или одевать в чужую болезнь. Человек болен, например, простым расстройством желудка от неудобоваримой пищи и воображает, что он болен - ну хоть холерой, которая эпидемически свирепствует у соседей! А мнимо-больные подчас хуже настоящих больных. Ложь подражания была не в одной области отвлеченной мысли, а во всей общественной и государственной русской *жизни*, - хотя и бессознательная, как говорит автор, однако тем не менее вносившая фальшь и кривду в общественную атмосферу, в сердца и умы, сбивавшая с толку самые усилия сознания... *Ред. (И.С. Аксаков).* (данное примечание И.С. Аксакова относится к дореволюционному изданию статьи Н.Я. Данилевского).

случиться лишь, если бы отрицательное нигилистическое направление потеряло свою силу и значение в своем первоисточнике - на Западе, если бы оно там перестало считаться передовым. Вслед за этим поворотом в любую сторону, по истечении некоторого времени, конечно и наша подражательность повернула бы туда же. Но на это рассчитывать не возможно, ибо логический процесс должен совершить свое полное роковое течение. А если бы и можно было рассчитывать, то такое излечение вовсе и нежелательно, ибо было бы только переменою одной болезни на другую, хотя и менее острую: мы все продолжали бы носиться по ветру учений, без балласта, руля и компаса, завися единственно от состояния погоды, от ведра или ненастья за нашим западным горизонтом. Другой путь был бы обращением к самобытности во всех сферах мысли и жизни. Кроме этого – все будет лишь временно и слабо действующим паллиативом, хотя и полезным в том или другом отношении.